

ТРЕЩИНА



Денис Сытин

Денис СЫТИН

Трещина

«Автор»

2026

Сытин Д. Ю.

Трещина / Д. Ю. Сытин — «Автор», 2026

Когда из наглухо запертого хлева бесследно исчезает скотина, хуторяне шепчутся о волках. Но когда в окна дома Берестовых начинает звать голос живой матери, а сама она в это время спит у печи, становится ясно: из плавней пришла голодная древняя жуть. Чтобы спасти семью, отцу пришлось заключить со злом невыносимую сделку и шагнуть туда, откуда не возвращаются. Это подарило детям жизнь. Но спустя десятилетия половица на старом чердаке вновь замолчала под чьей-то невидимой тяжестью «Трещина» — тягучий, леденящий кровь деревенский хоррор, где бабкины сказки оборачиваются беспощадной явью.

© Сытин Д. Ю., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	11
Глава 3	18
Глава 4	25
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Денис Сытин

Трещина

Глава 1

ПРОЛОГ

Бабкины сказки не врут — они недоговаривают. Память хуже колодца. В колодец что упало, то на дне и лежит: захочешь рукой достанешь, коли брезговать не станешь. А память не держит. Память подкладывает. Думаешь забыл, схоронил, землёй притоптал, а оно само ночью всплывёт, да не своим голосом, чужим, и спросит тихонько из-за плеча: помнишь?

Я помню. И теперь вот пишу.

Потому что молчать больше не могу. Потому что по ночам всё так же — тишина не та. Потому что третьего дня внук спросил: «Дед, а почему у нас на чердаке половица не скрипит? Все скрипят, а та — нет. Будто кто на ней стоит и не дышит». Я тогда засмеялся, а сам встал из-за стола, вышел на крыльцо, закурил и рука дрожала. Не от холода. От дум.

Значит, не ушло. Значит, ждёт.

Хорошо. Пусть будет запись. Пусть будет бумага. Пусть кто-то прочтает и, может, не полезет туда, куда не надо. А полезет так хоть знать будет, что ответить, когда спросят не тем голосом.

Зовут меня Ефим Ильич Берестов. Родился я в хуторе Тиховском, что на самой кромке Донской земли, где уже не Дон, а ерик, а за ериком плавни, а за плавнями такая глушь, что сам чёрт ногу сломит. Было нас у матери пятеро. Мне тогда шестой год пошёл. Варьке третий. Братьям: Степану двенадцать, Гришке десять, Митьке восемь. И отец, Пётр Берестов, ещё не старый мужик, сорок два года, а уже с сединой. Как-никак две войны за спиной, германская да гражданская. Вернулся в двадцать втором, отстроил мазанку, лошадь завёл, корову, курей — жили. Небогато, но сытно. До той осени.

Пётр Берестов, отец наш, был мужиком кряжистым, невысоким, но широким в кости. Такие в народе «дубками» зовут. Лицо его, обветренное, тёмное от степного загара, казалось вырубленным из старого, промасленного дерева: высокий лоб, глубоко посаженные серые глаза с прищуром, который остался ещё с германской войны, и жёсткая, колючая щетина, пробивавшаяся уже к полудню, хоть брился он каждое утро. Волосы русые, с обильной проседью на висках, он стриг коротко, по-солдатски, и из-под этой стрижки всегда торчали в разные стороны, как прутья из веника. Руки его — отдельная память: натруженные, с толстыми, вздутыми венами, с мозолями, которые не сходили даже зимой, когда в поле не работали. Левая рука была чуть короче правой — ещё с гражданской, после того как под Вознесенской его прикладом по локтю саданули. Но сила в ней осталась прежняя, и когда он сжимал кулак, казалось, что этот кулак может остановить лошадь на скаку.

Мать, Настасья, была ему под стать — не ростом, так духом. Невысокая, ладная, с крутыми бёдрами и тонкой, гибкой талией, которую не испортили даже пятеро родов. Лицом она вышла в свою мать, бабку Аграфену: овальное, с высокими скулами и небольшим, аккуратным ртом, который в минуты гнева сжимался в такую тонкую нитку, что мы, пацаны, заранее знали

— лучше не подходить. Волосы у матери были чудом: густые, русые, с золотистым отливом, они падали ниже пояса, и когда она распускала их вечером перед сном, вся горница наполнялась запахом ромашки и сухого разнотравья — она мыла их отваром трав, и этот запах был для нас запахом дома, запахом защиты. Глаза — серые, с тёмной каймой вокруг радужки, смотрели спокойно, но в этом спокойствии всегда чувствовалась такая глубина, будто она видела то, что мы не видим. И, может, так оно и было.

Старший, Степан, в двенадцать лет уже вымахал почти в отца — тот же рост, те же широкие плечи, но ещё по-мальчишечьи угловатые, необмятые. Волосы у него были русые, и он их зачёсывал назад, открывая крутой, чуть покатый лоб. Гришка, десяти лет, был полной противоположностью брату. Невысокий, коренастый, с круглой, будто налитой головой и маленькими, глубоко посаженными глазами цвета перспелой вишни. Волосы у него были тёмно-русые. Митя, восьми лет, был нашим «красным солнышком» — мать называла его так за волосы: рыжие, с медным отливом, какие в нашей семье не водились ни у кого. Говорили, в прадеда, который был казаком-черкесом и привёз откуда-то с Кавказа и эту рыжину, и диковинную фамилию Берестовы, которую потом, при переписи, переделали на русский лад. Митька был худым, долговязым, с острыми, чуть оттопыренными ушами и лицом, усыпанным мелкими, едва заметными веснушками.

Началось всё с пропажи овцы. Мелочь, скажешь. У кого в хуторе скотина не пропадала? Волки, воры, свои же — мало ли. Но та овца пропала странно. Загон целый. Забор не ломан. Собака не брехала. А поутру открываешь дверь в базу, а овцы нет. Будто корова языком слизнула. Только клочок шерсти на колу остался. И тот не вырванный, а будто вытянутый сквозь щель, которой нет.

Отец тогда покрестился, велел матери не выходить со двора после заката, а сам ушёл к деду Антипу, что на отшибе жил, в старой хате с покосившейся трубой. Дед Антип считался у нас знающим. Шептун, по-здешнему. Никто не знал, откуда он пришёл в хутор, помнили его уже старым, а старым он был всегда. Говорили, он ещё при царе конокрадов заговаривал, чтоб кони сами ворочались. Верить или нет не знаю. Но отец ему верил.

Вернулся он затемно, тихий, и первым делом не к матери пошёл, а в чулан, где топор лежал. Вынес топор, долго смотрел на лезвие, потом положил на божницу, под образа. Мать ахнула, а он сказал: «Молчи. И детей не спускай с глаз. И сама никуда. Ни к колодцу, ни в погреб, ни за ворота. Поняла?»

Мать поняла. Она всегда понимала отца с полуслова. Только глаза у неё стали такие, как у подстреленной чибисы: вроде живая, а вроде уже нет.

Через день пропал козёл. Через два куры перестали нестись, а те, что были, вышли из сарая мокрые, будто их в реке выкупали. А река была далеко, версты за три. Петух охрип и молчал трое суток, сидел на жёрдочке и только головой крутил, будто за кем-то следил, кого мы не видели.

А потом пошли облавы. Сначала собирались мужики, брали ружья, вилы, цепи, обходили плавни, заросли, старые камышовые крепи. Ничего не находили. Только один раз, говорят, наткнулись в ерике на плотный круг на воде, будто что-то большое кружило под тиной. Стреляли — вода брызнула, а пули, как горох о стену, отскочили в сторону. И запах пошёл. Не гнилой — другой. Сладковато-пресный, как от цветущей липы, но с привкусом будто железо на языке.

Мужики тогда повернули назад. И больше в плавни не ходили.

А дед Антип исчез. Пропал той же ночью, после облавы. Хата его стояла открытая. На столе недопитая кружка с молоком, на печи ватник, на лавке кисет с махоркой. А самого нет. Ни следа, будто сквозь землю. Вот с того дня и началось.

Пишу, и рука не дрожит. Странно. Должна бы. Потому что когда я заканчиваю этот лист и прячу его в стол, я знаю: кто-то его прочитает. Или не кто-то, а то, что умеет читать, не то что людьми писано. Но мне уже всё равно. Ведь ту осень я не забыл. И она не забыла меня. Я как сейчас слышу, за стеной, в кухне, половица не скрипит. Так и ты, читатель, услышишь когда-нибудь. И тогда поймёшь - бабкины сказки не врут. Они просто не договаривают.

А теперь слушай.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Чужой хлеб

В тот год осень пришла рано — не календарём, а нутром. Ещё в конце августа, когда по всем приметам должно было стоять бабье лето, с востока потянуло таким ветром, что лист на деревьях пожелтел и скрутился в трубочку за одну ночь, а поутру хуторяне выходили на крыльцо и молчали — потому что пахло не так. Пахло не хлебом, не дымом, не поздней росой — а чем-то чужим, сырым, глубинным, будто земля приоткрыла рот и дышала.

Пётр Берестов, отец наш, встал в тот день до свету. Встал, не разбудив мать, прошлёпал босыми ногами по холодному полу, откинул занавеску на окне — и замер. За окном было ещё темно, но темнота эта была не ночная, уютная, с редкими звёздами, а какая-то плотная, осязаемая, будто кто-то натянул поверх хутора чёрный тулуп и придавил края камнями. Звезды — и те не светились, а тускнели, как угли в потухающем костре.

Он постоял, потом перекрестился — небрежно, по-солдатски, в три перста — и пошёл в горницу будить нас, детей. Будить было рано, но он чуял: день будет долгий и лучше встретить его при деле, чем в постели.

— Подъём, орлы, — сказал он негромко, но так, что половицы отозвались. — Вставайте, хлеб убирать. До дождей надо.

Степан, старший, сел на постели сразу, как по команде. Гришка заворочался, что-то буркнул в подушку. Митька, тот вообще спал мёртвым сном — его пришлось тормошить за плечо, и он открыл глаза мутные, непонимающие, и первым делом спросил:

— А чего темно ещё?

— Осень, — коротко ответил отец. — Вставай, говорю.

Я, Ефимка, в ту пору был шести лет от роду, и меня отец будить не стал — я и так проснулся, едва он заскрипел дверью. Я вообще просыпался от любого шороха — такая уж натура, материна. Говорили, я первый раз заорал не когда повитуха шлёпнула, а когда за стеной кто-то ведром брякнул. Так и остался: на звук чуткий, на тишину — болезненно.

Варька, сестрёнка, спала в закутке за печкой, в плетёной люльке, которую отец смастерил ещё до её рождения из ивовых прутьев. Мать укачала её глубокой ночью, когда мы уже спали,

и теперь Варька дышала ровно и сладко, и я, слушая это дыхание, почему-то успокаивался. Пока она дышит — всё ладно.

Мы оделись молча. Отец накинул старую шинель, ещё с гражданской, в которой рукав был прожжён махоркой, а на груди — бурое пятно, то ли кровь, то ли вино, то ли земляная краска, уже не отстирать. Степан и Гришка надели отцовские рубахи, перепоясались верёвками — на вырост, как всегда. Митька натянул на себя что-то непонятное, полосатое, из бабкиного сундука, и выглядел в нём, как пугало огородное. Я же просто остался в том, в чём спал: в длинной, до колен, рубахе, подпоясанной мочалкой.

Мать к тому времени уже затопила печь — печь в нашей мазанке была старой, глинобитной, ещё от прежних хозяев, и гудела она не так, как положено, а с надсадой, будто внутри не огонь, а зверь сидел и ворочался. Она замесила тесто на скорую руку, без закваски, — пресные лепёшки, которые мы брали с собой в поле. Я помню этот запах: мука, вода, щепотка соли и печной жар, смешанный с запахом керосина из лампы. Он был единственным запахом, который не пугал меня в те дни. Сейчас, спустя столько лет, я бы отдал всё, чтобы почувствовать его снова. Но не чувствую. И не почую.

Выехали затемно. Отец запряг Буланого — старого, но ещё крепкого мерина, который помнил ещё ту, первую войну, потому что его реквизировали у какого-то помещика под Воронежем, а потом, после демобилизации, отец выменял его за два мешка пшеницы и старое седло. Буланый был умнее многих людей: он никогда не наступал на борозду, сам останавливался перед ямой и умел находить дорогу домой в самую лютую метель. Но в то утро он вёл себя странно. Когда отец вывел его из конюшни, Буланый не пошёл, как обычно, к колоде, не потянулся мордой к ведру с водой, а замер на месте, поднял голову и долго водил ноздрями, будто принюхивался к чему-то, чего мы, люди, не слышали. Потом он тихо, по-лошадиному жалобно, всхрапнул — и отец, вместо того чтобы хлестнуть его вожжей, сам побледнел и перекрестился.

— Но-но, — сказал он тихо, почти ласково, и погладил Буланого по холке. — Но-но, родимый. Не бойся. Мы с тобой.

Буланый тронулся. Но шёл неохотно, мелкой рысью, и уши его были плотно прижаты к голове.

В поле мы добрались уже в серых сумерках рассвета. Небо на востоке разгоралось не розовым и не алым, как обычно, а каким-то нездоровым, бледно-жёлтым цветом, будто подсвеченным изнутри тухлым яйцом. Хлеб стоял — рожь, в основном, да немного ячменя. Колосья низко клонились к земле, отяжелевшие, но не спелые — странная бледность разлилась по ним, как восковая. Отец размял один колос в ладони, понюхал, сплюнул.

— Не поспела, — сказал он. — А убирать надо. Иначе ляжет.

Мы взялись за серпы. Степан и Гришка косили по-взрослому, широкими взмахами, Митька шёл за ними, подбирая срезанные колосья и складывая их в снопы. Мне, как самому малому, поручили вязать — и то получалось плохо, потому что пальцы не слушались, верёвка выскальзывала, и снопы распадались, едва я поднимал их.

Отец работал молча, но я замечал: он то и дело поднимал голову и оглядывался. Не на нас — на поле. На край, где поле переходило в плавни, где начинались камыши и старая, давно

заброшенная дорога, которая, как говорили старики, вела в никуда. Он вглядывался в ту сторону так, будто ждал, что оттуда кто-то выйдет. Или уже вышел.

К полудню притомились. Сели перекусить — мать дала нам лепёшек, крынку парного молока, лук зелёный с грядки, солёные огурцы в деревянном тuesке. Ели молча, быстро, не разговаривая. Только Митя, самый болтливый из нас, спросил:

— Тять, а правда, что в плавнях водяной живёт?

Отец не ответил сразу. Дожевал лепёшку, отпил из крынки, вытер рот рукавом.

— Всякая нежить живёт, — сказал он наконец. — Где вода — там и живность. А ты не суйся.

— А я и не сунусь, — сказал Митя, но глаза его горели — не страхом, а любопытством. Эх, Митька, Митька. Если бы ты знал тогда, что это любопытство будет стоить тебе... Впрочем, не буду забегать.

После обеда ветер переменялся. Тот самый, восточный, который дул уже третью неделю, вдруг стих, и наступила такая тишина, что стало слышно, как падают на землю сухие листья с одинокой берёзы на меже. Я тогда замер с серпом в руке, потому что тишина была не просто отсутствием звука — она была плотной, как вода в ушах. Отец тоже перестал работать, поднял голову, и я увидел, как его лицо медленно меняется. Не то чтобы он испугался — он узнал что-то. Узнал и не хотел знать.

— Собирайтесь, — сказал он негромко. — Домой.

— Но, тять, — начал было Степан, — а хлеб?..

— Домой, я сказал.

Он не кричал. Он вообще редко кричал. Но в его голосе было то, от чего даже Буланный, стоявший в отдалении, поднял голову и наострил уши.

Мы собрали серпы, снопы оставили в поле — бросили, как есть. Отец впряг Буланого в телегу, мы залезли, и он погнал лошадь не шагом, как обычно, а рысью, что было не в его обычае — он берёт Буланого, никогда не гонял без нужды. Но в тот раз гнал.

Я сидел на краю телеги, держался за гнилой борт, и смотрел назад, на поле, которое быстро уходило вдаль. И мне показалось — или показалось, — что на краю поля, там, где начинались плавни, кто-то стоял. Один. Высокий. Чёрный. Не человек — потому что человек не мог быть таким чёрным среди бела дня. И не дерево — потому что дерево не стоит так прямо и не смотрит вслед.

Я хотел сказать отцу, но язык не повернулся. Не от страха — от того, что внутри меня вдруг стало пусто, как в колоде, из которого вычерпали воду. Я только сжал пальцы на борту сильнее и отвернулся.

Домой мы добрались быстро. Мать встретила нас на крыльце — лицо белое, глаза большие. Она не спросила, почему так рано. Она посмотрела на отца, отец посмотрел на неё — и они поняли друг друга без слов.

— Запирай ворота, — сказал отец. — И окна закрой. Ставни — на засов.

— А дети? — спросила мать тихо.

— Дети будут в горнице. И ты с ними. А я — во дворе.

— Пётр...

— Не спорь, Настя. Не время.

Она не стала спорить. Она пошла к дому, подхватила Варьку из люльки — девочка даже не проснулась, только чмокнула во сне — и унесла её в горницу. Мы, мальчишки, потянулись за ней, но отец остановил меня, схватив за плечо.

— Ефим, — сказал он, и я впервые услышал, как он назвал меня полным именем, не Ефимкой, а Ефимом. — Ты у меня самый чуткий. Если ночью услышишь что-то — не выглядывай. Не отзывайся. И братьям скажи. Понял?

Я кивнул. Я ничего не понял, но кивнул.

— И вот ещё, — он нагнулся, заглянул мне в глаза. — Если кто-то позовёт тебя по имени, а ты не увидишь, кто зовёт, — молчи. Даже если это буду я. Даже если мать. Молчи и крестись. Крестись, пока не пройдёт.

Он перекрестил меня — широко, по-отцовски — и отпустил.

Я побежал в горницу, где уже зажгли лампаду, и уткнулся лицом в подушку, чтобы не слышать, как отец забивает ставни снаружи. Но я всё равно слышал. И ещё я слышал, как Буланый бьёт копытом в конюшне — бьёт ровно, с перерывами, как по сердцу. Тук. Тук. Тук.

А потом наступила ночь.

Ночь, которая длилась трое суток.

И это была не самая страшная ночь в моей жизни. Самая страшная была впереди. Но та, первая, — она научила меня одному: тишина — это не когда ничего нет. Тишина — это когда что-то есть, но не говорит.

А когда оно заговорит — лучше бы ему не отвечать.

Глава 2

ГЛАВА ВТОРАЯ

Тишина имеет вес

Ночь пришла не затемно — она навалилась. Так наваливается на путника в степи внезапный ливень: сначала секунда затишья, будто мир затаил дыхание, а потом — всей тяжестью, всей мокрой, холодной, неотвратимой массой. Только вместо дождя была тишина. И темнота. Такая темнота, что, когда мать задула лампу, оставив одну только лампаду перед иконами, мне показалось — нас закопали. Заживо. В землю, в глину, в этот мазанный дом, который вдруг стал не домом, а гробом.

Мы лежали в горнице вчетвером: я, Степан, Гришка, Митька. Варьку мать уложила рядом с собой, в закутке, за печкой, где воздух был теплее и стены толще. Отец остался во дворе — я слышал, как он тяжело ходит по утоптанной земле, как иногда останавливается и долго не двигается с места, будто прислушивается к чему-то, чего нам не дано.

Степан, как старший, пытался держаться молодцом. Он лежал на спине, положив руки под голову, и глядел в потолок, где лампадный свет выплясывал жёлтые круги на побеленных балках. Но я видел: он не спит. Он тоже слушает. Гришка заснул сразу — устал в поле, да и вообще он спал всегда и везде, как сурок, за что мать называла его «сонным царём». Митя ворочался, вздыхал, но тоже скоро затих. Остались мы со Степаном. И тишина.

— Степ, — позвал я шёпотом.

— Мм?

— А чего тять боится?

Пауза. Степан перевернулся на бок, и в свете лампы я увидел его лицо — не мальчишеское, а какое-то чужое, с глубокими тенями под глазами, будто он не спал не одну ночь, а много.

— Не знаю, — сказал он наконец. — Но он никогда не боялся. Даже когда немцы под Ростовом были. А тут — боится.

— Может, водяной?

— Какой водяной, дурень? Водяной в реке живёт, а у нас — сушь.

— А дед Антип говорил, водяной и в колодце может быть. Если колодец старый и не освящённый.

Степан помолчал, потом тихо, почти беззвучно, выругался — тем словом, которое от взрослых перенял, но при нас не употреблял. Не от злости, а оттого, что не знал, что ещё сказать.

— Спи, Ефимка, — сказал он. — Завтра разберёмся.

Но я не спал. Я лежал с открытыми глазами и слушал, как дышит дом. Дом всегда дышал — по-своему, по-живому. Скрипел половицами, когда ветер, вздыхал печной заслонкой, шелестел соломой на крыше. Но в ту ночь он дышал иначе. Ровно, глубоко, как человек, который притворяется спящим, но знает, что за ним следят. И в этом дыхании было что-то настороженное, хищное — будто дом сам ждал чего-то. Или кого-то.

А потом начались звуки.

Сначала — снаружи. За ставнями, за толстыми дубовыми досками, которые отец приколотил накрепко, — шорох. Лёгкий, едва слышный, как от мышиных лапок по сухой листве. Но мыши не бывают такими тяжёлыми. И они не ходят по одному месту по кругу — туда-сюда, туда-сюда, будто нащупывают слабинку, будто ищут, куда просунуть коготь.

Я приподнял голову, вглядываясь в щель между ставнями. Оттуда не пробивалось ни лучика — ночь была безлунная, беззвёздная, чернее дегтя. Только шорох. И через несколько минут — другой звук. Из-под пола.

В нашей мазанке пол был земляной, утрамбованный, покрытый домоткаными половицами. Под полом — подпол, неглубокий, куда мать ставила банки с соленьями и кадки с квашеной капустой. Вход в подпол — в сенях, через тяжёлую деревянную крышку. И вот из-под этой крышки, из темноты подпола, донёсся звук, от которого у меня волосы на загривке встали дыбом. Кто-то царапался. Снизу. Медленно, методично, будто скрёб когтями по глине. Царап — и пауза. Царап — и пауза. Царап-царап-царап — и долгая, тягучая тишина, в которой слышно было, как колотится моё сердце.

— Степ, — прошептал я, дёргая брата за рукав. — Там кто-то.

Степан сел на постели. Я видел, как его лицо в полумраке сделалось белым — блее рубахи, блее стен. Он тоже слышал. Он приложил палец к губам, велел молчать, и мы замерли оба, вслушиваясь.

Царапанье прекратилось. Наступила такая тишина, что у меня зазвенело в ушах — тем противным, высоким звоном, который бывает, когда резко встаёшь или падаешь с высоты. А потом из-под пола раздался голос.

— Степан...

Негромкий. Сиплый. Как у старого, прокуренного деда, который простудил горло на ветру. Но в этом голосе было нечто, отчего у меня всё внутри оборвалось и покатило куда-то вниз, в живот, в самый низ. Голос знал имя. Голос звал по имени. И голос этот был мне знаком. Я не мог понять, чей он — не узнавал, не вспоминал, — но тело моё знало. Тело покрылось мурашками, такими крупными, что кожа стала похожа на гусиную. А рот наполнился противным привкусом — медным, ржавым, как кровь на язык.

Степан не ответил. Он сидел не шевелясь, и я видел, как его руки вцепились в край постели — побелели костяшки, натянулись жилы. Он молчал. Молчал так, будто язык примерз к нёбу. И правильно делал — потому что следом голос повторил:

— Степан... выйди...

Это уже не было просьбой. Это было требованием. И в этом требовании слышалось такое спокойное, такое всезнающее терпение, будто тот, кто говорил из-под пола, мог ждать вечность. И ждал.

Я закрыл глаза. Зажмурился так сильно, что в темноте поплыли огненные круги, и начал шептать — ту молитву, которой меня научила мать: «Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое...» — я глотал слова, путался, начинал сначала, и пальцы мои сами собой сложились в щепоть, которую бабка Аграфена, ещё живая, называла «защита от лихого».

Голос замолчал. Но тишина после него была хуже — в ней чувствовалось присутствие. Кто-то стоял по ту сторону пола, прямо под нами, и слушал, как я молюсь. И, кажется, ему это нравилось.

Не знаю, сколько времени прошло. Может, минута. Может, час. Но когда я открыл глаза, Степан уже лежал — на спине, с открытыми глазами, и смотрел в потолок. Он не спал. Он просто перестал дышать. Так глубоко, так старательно, будто надеялся, что если не будет дышать, то его не заметят.

— Степ, — прошептал я. — Он ушёл?

Степан не ответил. Только мотнул головой — не то «нет», не то «не знаю».

А потом со двора донёсся крик. Короткий. Хриплый. И сразу оборвавшийся — как ветку переломили. Это кричал отец.

Я вскочил, не помня себя. Босые ноги ударили по холодному полу, я метнулся к двери, дёрнул щеколду — и тут же получил от Степана такой удар в грудь, что отлетел к печке, больно ударившись спиной о кирпичи.

— Сидеть! — рявкнул он шёпотом, и в этом шёпоте было столько звериной ярости, что я не посмел послушаться. — Сидеть, я сказал! Тять велел не выходить!

— Но он кричал!

— Значит, так надо. Сиди.

Он сам подошёл к окну, отодвинул край половика, которым было завешено стекло, и прильнул к щели между ставнями. Долго смотрел. Потом отшатнулся, и я увидел, как его лицо исказилось — не страхом даже, а чем-то другим, чему у меня тогда не было названия. Омерзением. Отвращением. Тем чувством, когда видишь то, что не должен видеть человек, и знаешь, что теперь это останется с тобой навсегда.

— Что там? — спросил я.

Он не ответил. Отошёл от окна, сел на постель, уронил голову на руки. И просидел так до самого утра — неподвижно, как камень. А я не решился больше ни о чём спрашивать.

Утро пришло не скоро. Лампада догорела, иконы потонули в сером предрассветном сумраке, который сочился сквозь щели в ставнях, как вода сквозь плотину. Первым проснулся Митька открыв глаза, сел на постели, огляделся.

— А чего это вы не спите? — спросил он сонно.

Никто не ответил.

— А где тять?

— Во дворе, — буркнул Степан, не поднимая головы.

— А чего он там?

— Работает.

Митька хотел ещё спросить, но я дёрнул его за рукав и показал глазами — молчи. Он замолчал. Даже Митька, самый бестолковый из нас, понял: утро не такое, как всегда.

Мать вышла из-за печки с Варькой на руках. Лицо у неё было спокойное, даже слишком спокойное — будто она надела на себя маску из теста и забыла её снять. Она прошла к окну, отворила ставни — отец, видимо, уже отколотил доски снаружи, — и в горницу хлынул свет. Серый, неживой, но всё-таки свет. Я зажмурился. Когда открыл глаза, мать стояла у порога и смотрела во двор.

— Идите завтракать, — сказала она. — И не выходите на улицу без отца.

Мы вышли в сени. Я глянул в щель между досками — во дворе было пусто. Телега стояла на месте, Буланий торчал из конюшни, жевал сено. Но отца нигде не было видно.

— А где тять? — снова спросил Митя.

— Ушёл, — ответила мать коротко.

— Куда?

— По делу.

И замолчала.

Мы ели кашу — пшённую, жидкую, без масла. Мать не разговаривала, мы не разговаривали. Только Варька гукала в своей люльке и тянула пухлые ручки к свету. Завтрак кончился быстро — никто не хотел есть.

— Сидите дома, — сказала мать, надевая платок. — Я схожу к соседям.

— Мам, — Степан встал. — Я с тобой.

— Сиди, сказала.

— Мам, — он повысил голос. — Я старший. Я должен.

Она посмотрела на него долгим, тяжёлым взглядом. Потом перевела глаза на нас — на меня, на Гришку, на Митьку. На Варьку, которая уже засыпала.

— Оставайтесь втроём, — сказала она наконец. — И не отпирайте дверь никому. Даже если буду звать я. Поняли? Даже если я. Запомните это, ради Христа.

Степан кивнул. Мать перекрестила нас — каждого по очереди, и меня в том числе, хотя я никогда не был её любимчиком, — и вышла за порог.

Мы остались одни. Четверо мальчишек в доме, который вдруг стал слишком большим и слишком пустым. Гришка полез на печь — оттуда было лучше видно в окно. Митя уселся на лавку и принялся крутить в пальцах обрывок верёвки. Я стоял у двери и слушал. Степан — у другого окна, смотрел на улицу.

— Степ, — спросил я тихо. — А что ты ночью видел? Во дворе?

Он не обернулся.

— Ничего.

— Врёшь.

— Ефим, отстань.

— Не отстану. Я видел твоё лицо. Ты видел что-то.

Он резко повернулся, и в глазах его мелькнуло то, что я принял за злость, но только потом понял: это был страх. Самый настоящий, животный страх, который выжигает из человека всё человеческое.

— Ты хочешь знать, что я видел? — спросил он, и голос его сел, стал хриплым, чужим. — Я видел, как наш отец стоял посреди двора и смотрел на колодец. Просто стоял и смотрел. А из колодца — из нашего колодца, из которого мы воду берём каждый день, — из него тянулись руки. Длинные, белые, тонкие, как плети. И они обнимали отца за плечи, за шею, за голову. А он стоял и не двигался. И улыбался. Понимаешь? Улыбался.

У меня похолодели пятки. Не голова, не грудь — именно пятки, там, где пятки касались холодного пола. Я отступил на шаг, упёрся спиной в дверной косяк.

— А потом? — спросил я, хотя не хотел спрашивать.

— А потом он обернулся, — Степан сглотнул. — Обернулся и посмотрел прямо на меня. Сквозь ставни. Сквозь стену. Сквозь темноту. И сказал... нет, не сказал, а прошептал — так

тихо, что я услышал только потому, что он шептал прямо в ухо, хотя стоял далеко. Он сказал: «Не выходи. Я скоро вернусь. Я уже почти собрался».

— Собрался? Куда?

— Не знаю. А потом он пошёл к калитке, отворил её — и вышел. А руки из колодца убрались обратно. И колодец закрылся. Сам. Крышкой.

Мы молчали. Гришка на печи тоже молчал — может, спал, может, притворялся. Митька верёвку уже не крутил — замер с открытым ртом, глядя на Степана круглыми, как плошки, глазами.

— Никому не говори, — сказал Степан. — Особенно матери. Она и так... она и так знает. Но не надо, чтобы она знала, что мы знаем.

Я кивнул. Я не понял тогда, что он имел в виду. Понял потом. Много лет спустя, когда сам стал отцом и понял: нет ничего страшнее, чем знать, что твои дети видят то, от чего ты не можешь их защитить.

Мы ждали мать. Ждали час, два, три. Солнце поднялось выше, стало светлее, но теплее не сделалось — воздух оставался холодным, липким, как перед грозой. Варька проснулась, заплакала. Гришка слез с печи, покормил её из рожка — молоко скисло, но девочка ела, потому что не понимала ещё, что такое кислое и что такое горькое.

А потом дверь отворилась. Не мать вошла — соседка, тётка Марфа, что жила через два двора от нас. Она была бледная, растрёпанная, в накинутом на плечи тулупе, хотя на улице было не холодно.

— Мать ваша у бабки Ульяны, — сказала она, не здороваясь. — Велела передать: сидите, не выходите. И дверь никому не открывайте.

— А что случилось? — спросил Степан.

Тётка Марфа перекрестилась — часто, мелко, истово.

— Пластуны пропали, — сказала она. — Трое. Вчера в плавни ходили — и не вернулись. А сегодня утром один нашёлся. В ерике. Лицом вниз. И весь — будто... — Она замолчала, махнула рукой. — Не дай Бог увидеть. Сидите, дети. И молитесь.

Она ушла, не закрыв за собой дверь. Степан пошёл закрыть — и замер на пороге. Я подбежал к нему, выглянул из-за плеча.

На улице, посреди переулка, стояла женщина. Я не узнал её — в нашем хуторе все были свои, а эту я видел впервые. Она была босая, в мокрой, облепившей тело рубахе, и волосы её, длинные, седые, свисали до пояса мокрыми сосульками. Она стояла неподвижно и смотрела прямо на наш дом. Прямо на нас.

А потом она улыбнулась.

И в этой улыбке было столько ртов, сколько не бывает у одного человека.

— Захлопывай! — заорал я, дёргая Степана за рукав. — Захлопывай, дурак!

Он захлопнул. Задвинул засов. И мы стояли с ним по разные стороны двери, тяжело дыша, и я чувствовал, как по моим ногам течёт что-то тёплое — я намочил штаны, впервые за три года, и мне было не стыдно. Мне было страшно.

А снаружи раздался смех.

Тихий. Ласковый. Материнский почти.

И я понял: эта ночь — только начало.

Глава 3

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мать в чужом лице

За дверью смеялись не переставая. Смех тот был негромкий, ласковый даже, но в нём чувствовалось такое, от чего у меня живот свело судорогой, а зубы сами собой застучали — мелко, противно, как в лихорадке. Смеялась женщина. Та самая, босая, в мокрой рубахе, с волосами-сосульками. Смеялась и, кажется, не дышала — потому что между приступами смеха не было ни вздоха, ни всхлипа, ни даже паузы для воздуха. Будто смех этот шёл не из лёгких, а откуда-то изнутри, из пустоты, где воздуху не положено быть вовсе.

— Заткните уши, — прошептал Степан, пятась от двери. — Заткните, я сказал!

Гришка уже сидел на печи, прижав ладони к ушам, и раскачивался вперёд-назад, как старый дед на молитве. Митя забился под лавку, свернулся калачиком и зажмурился так сильно, что морщины пошли по всему лицу. Я же стоял как вкопанный, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Смотрел на дверь. На тёмную щель внизу, где под порогом тонкой ниткой сочился не свет — откуда бы ему взяться, — а что-то другое. Тягучее, серое, похожее на туман, но плотнее, осязаемее. Оно струилось по половицам, обтекало ножки столов и лавок, тянулось к нам, как щупальца, и пахло — чем бы вы думали? — не гнилью, не тинной, не смертью. Пахло парным молоком. Тёплым, свежим, только что из-под коровы. Запах, который всегда означал для нас безопасность, дом, мать. А теперь он стал чужим. Теперь он тянулся из-под двери вместе с этим серым, вязким маревом, и я понял: самое страшное — не когда зло пахнет смертью. Самое страшное — когда оно пахнет домом.

— Ефим! — рявкнул Степан, и голос его пробил оцепенение. — К печке, быстро!

Я дёрнулся, споткнулся о собственные ноги, упал на четвереньки, вскочил — и побежал к печке, туда, где за спиной у Гришки была широкая, тёплая лежанка, обложенная старыми тряпками. Вскочил на неё, прижался спиной к нагретому кирпичу — печь ещё хранила утренний жар, — и только тогда почувствовал, что ноги мои больше не держат. Они тряслись. Тряслись так, что я не мог их унять, как ни старался.

Степан тем временем сорвал с гвоздя медный крест — тот, что висел над дверью, ещё бабкин, тяжёлый, с распятием, у которого стёрлись до блеска руки и ноги Христа от прикосновений. Крест был большой, не нательный, а домашний, и Степан едва удержал его в одной руке. В другой у него появилась икона — Казанской Божьей Матери, тоже старая, потемневшая от копоти, с облупившимся окладом. С этими двумя святынями он встал напротив двери, поднял крест перед собой, как солдат перед атакой поднимает штык, и заговорил. Заговорил не молитвой — нет, не той, что в церкви читают. Заговорил тем, что слышал от деда Антипа: древним, корявым, сбивчивым заговором, в котором слова путались, обрывались, налезали одно на другое, но оттого становились только страшнее — для того, кто слушал их с той стороны.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, — начал Степан, и голос его дрожал, но не срывался. — Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Спаси и сохрани. От нечистого,

от лихого, от навьего, от полуночного, от пришлого, от того, кто без креста, без имени, без лица...

Дальше пошло то, чего я не разобрал. Слова сливались в единый гулкий, тягучий звук, похожий на колокольный звон, только глухой, подземный. И странное дело: чем громче говорил Степан, тем тише становилось за дверью. Смех утихал, превращался во вздохи, вздохи — в шёпот, шёпот — в ничто. Серое марево под порогом потемнело, свернулось, втянулось обратно в щель, будто его засосало. И наступила тишина. Настоящая, глубокая, как дно колодца.

Степан опустил крест. Икона выпала у него из рук — упала на половик, стеклом вниз, но не разбилась. Он стоял, тяжело дыша, и пот с его лица капал на пол — крупный, частый, как дождь.

— Ушла, — сказал он. — Пока ушла.

— А что это было? — пискнул Митька из-под лавки.

— Не знаю. И знать не хочу.

Но я знал. Вернее, не знал, а чувствовал: то, что стояло за дверью, не было ни женщиной, ни даже нежитью в обычном понимании. Это была личина. Маска. Подделка под живое, сделанная из того, что остаётся от человека, когда он умирает не своей смертью и не уходит, а застревает где-то на границе — между водой и землёй, между сном и явью, между этим миром и тем. Бабка Аграфена, бывало, рассказывала: «Если человек тонет, а тело не находят, душа его не успокаивается. Она мечется, ищет выход, лепит себе из тины, из водорослей, из речного песка новую плоть. И выходит такая — вроде человек, а вроде нет. И она помнит, кем была, но помнит криво, как в разбитое зеркало глядит. И она ищет тепло. Живое тепло. Чтобы примерить его на себя, как платье». Ищет. И находит.

Мы просидели в тишине, наверное, с час. Может, больше. Время в тот день потеряло всякий смысл: оно то растягивалось, как резина, так что минута казалась вечностью, то сжималось в точку, и я не мог понять, прошло ли пять минут или полдня. Мать всё не возвращалась. Отец — тем более.

Гришка заснул на печи — сон сморил его, как медведя в берлоге. Митя выполз из-под лавки, сел на корточки у стены и принялся водить пальцем по трещине в штукатурке, вода и вода, будто пытался стереть её или, наоборот, углубить. Я сидел рядом со Степаном у окна. Мы не разговаривали. Смотреть на улицу было боязно, но и не смотреть — ещё страшнее.

А потом мы услышали шаги. Снаружи. Тяжёлые, уверенные, вбивающие пятки в утрамбованную землю со знакомым, родным ритмом. Шаги отца.

— Открывай, — сказал я.

— Погоди, — Степан прижал палец к губам.

Шаги приблизились к крыльцу. Досочка на второй ступеньке скрипнула — та самая, которую отец всё собирался прибить, да всё руки не доходили. Скрипнула привычно, по-своему. Потом — стук в дверь. Три удара. Коротких, сухих — тра-та-та.

— Свой, — выдохнул я и рванул к двери, но Степан схватил меня за шиворот, оттащил назад, зажал рот ладонью.

— Молчи, — прошипел он мне прямо в ухо. — Ты забыл, что мать говорила? Даже если я буду звать.

— Но это тять! Я его шаги знаю!

— А ты лицо его видел? Нет. Ты только шаги слышал. А шаги — их подделать можно.

— Зачем?

— Не знаю. Но не отпирай.

Стук повторился. Три удара. Тот же ритм. Та же сила. И голос — голос отца, хриплый, усталый, как после долгой дороги:

— Открывайте, пацаны. Я это. Замёрз совсем. Мать где?

Я глянул на Степана. Степан глянул на меня. В глазах его была такая мука, что я не выдержал — отвёл взгляд.

— Степ, — сказал я шёпотом, — а вдруг это правда он?

— А вдруг нет?

За дверью помолчали. Потом отец — или тот, кто назвался отцом, — заговорил снова, и в голосе его появилось что-то новое. Нет, не злость. Не раздражение. Боль. Настоящая, живая, человеческая боль, от которой у меня сердце перевернулось.

— Сынки... Я знаю, вы боитесь. И правильно делаете. Но это правда я. Я вышел из колодца. Там... там ход. Подземный. В плавни. Я видел Антипа. Он живой. Он... — голос отца сорвался, стал тише. — Он сказал, что за мной придут. Что уже пришли. Что вы не должны открывать никому, даже мне. Особенно мне. Так что... так что не открывайте. Я сам посижу на крыльце. Дождусь матери.

И мы услышали, как он сел — тяжело, с кряхтеньем, как всегда садился, когда уставал в поле. Услышали, как он достал кисет, как зашуршал самокруткой, как чиркнул кресалом. Запахло махоркой — тем самым, горьким, едким дымом, который я знал с пелёнок.

Я посмотрел на Степана. Он смотрел на дверь. Лицо у него было белое, как простыня, но в глазах — нет, не страх. Решимость. Такая страшная, взрослая решимость, когда человек знает, что должен сделать, и сделает, даже если это убьёт его.

— Степ, — прошептал я, — это он. Махорка. Кресало. Всё.

— Ефим, — ответил он так же тихо, — а ты знаешь, что нечисть может подделать не только голос, но и запах? Что она может вытянуть из твоей памяти всё, что ты любишь, и

облечься в это, как в кожу? Антип говорил: «Не верь ни глазам, ни ушам, ни носу. Верь только тому, что не может быть подделано». А что не может быть подделано?

Я не знал.

— То, чего ты не знаешь, — сказал Степан. — Спроси его о том, чего он не может знать. О том, чего нет в твоей памяти.

Это была мудрость не по годам. Я не понял тогда, откуда она взялась у брата — может, от отца, может, от матери, может, сам дошел. Но она оказалась верной.

— Тять, — крикнул я в дверь, и голос мой прозвучал тонко, по-детски. — А какую ты мне сказку прошлый раз рассказывал? Про волка?

За дверью молчали. Долго. Так долго, что я уже решил: ошибся, надо было другой вопрос задать. Но ответ пришёл. Тихий, ровный, чуть грустный.

— Про волка-оборотня. Как он пастуха обманул, в его шкуру влез, и стадо увёл в болото.

— А как пастух догадался?

Пауза. Короткая. Слишком короткая.

— По голосу. Волк говорил слишком правильно, без оговорок. А настоящий пастух всегда запинаясь.

Степан дёрнул меня за рукав, оттащил от двери, и я увидел, как его лицо исказилось — не страхом, а отвращением, как тогда, ночью, у окна.

— Это не он, — сказал Степан. — Это не он, потому что ту сказку рассказывал не тять. Я. Ты меня спросил про тяткину сказку, а ответил тот, кто слышал её от тебя. От тебя, Ефимка. Из твоей головы. Он вытащил это из тебя.

У меня подкосились ноги. Я сел прямо на пол, обхватил колени руками и замер, как мышь перед котом. Потому что Степан был прав. Сказку про волка-оборотня рассказывал не отец. Я сам придумал её прошлой зимой, когда мы сидели в горнице и ждали, пока мать замесит пироги. Я её рассказывал, и Степан слушал, и Гришка, и Митька. А отца в тот вечер не было — он уезжал в станицу за гвоздями. Тот, кто ответил сейчас, ответил моими словами, моей памятью, моей выдумкой. Он думал, что я спросил про отца, а спросил про себя. И попался.

— Не открывай, — сказал я. — Ни за что.

— И не собирался.

За дверью стало тихо. Потом — шорох, будто кто-то поднялся с крыльца, отряхнулся. Потом — шаги. Но не отцовские. Другие. Лёгкие, быстрые, почти бесшумные. И удалялись они не к калитке — к огороду, к задней стене, к тому месту, где в земляном полу погреба была старая, заколоченная досками дверь, которую отец завалил мешками с картошкой ещё летом.

— Степ, — я схватил брата за руку. — Он туда пошёл. В погреб.

— Знаю.

— Но там же... там же ход под дом!

— Знаю, — повторил он. И, помолчав, добавил: — Там уже кто-то есть. Я слышал.

Мы переглянулись. И в этот миг из-под пола, из того самого места, где вчера царапался и звал голос, раздался новый звук. Не царапанье. Не шёпот. А пение. Тихое, высокое, на одной ноте — как поют над покойником, когда душа уже вышла, а тело ещё не остыло. И слова в этом пении были, но такие древние, такие корявые, что я не разобрал ни одного. Только имя — своё. Ефим. И ещё: выйди. И ещё: не бойся.

Я не вышел. Я закрыл уши, лёг на лежанку, прижался к Гришке — тот спал мёртвым сном, даже не пошевелился, — и зажмурился. А про себя твердил одно, то, что бабка Аграфена называла «словом-ключом»: «Чур меня, чур, чур, чур. Не твой я, не твой, не твой. Крещёный, молитвенный, от матери рождённый, отцом названный. Чур меня».

Сколько я так лежал — не помню. Но когда открыл глаза, за окном уже серело. Вечерело? Или утро наступало? Я не понимал. В горнице горела лампада — мать, уходя, зажгла новую, — и в её неровном свете я увидел Степана. Он сидел на лавке, положив перед собой крест и икону, и смотрел на дверь. Не на уличную — на ту, что вела в сени. А из-за той двери, из сеней, доносились тихие, мерные звуки. Кто-то ходил там. Взад-вперёд. Взад-вперёд. И что-то переставлял. Банки? Крынки? Кастрюли? И напевал. Всё ту же тягучую, древнюю мелодию.

— Она там, — сказал Степан, не оборачиваясь. — В сенях. Впускать не просится. Просто ходит.

— А чего ей надо?

— Ждёт, наверное. Когда мы ошибёмся. Когда кто-то из нас откроет дверь по привычке. Или когда мать вернётся.

— А мать вернётся?

— Должна.

Но мать не возвращалась. Час, второй, третий. Пение в сенях то стихало, то начиналось снова. Шаги то ускорялись, то замирали. И каждый раз, когда они замирали, мне казалось — сейчас она войдёт. Сейчас отворит дверь, и мы увидим её — босую, в мокрой рубаше, с улыбкой, в которой больше ртов, чем положено человеку. Но дверь не открывалась. Она просто стояла там, за тонкой дощатой преградой, и ждала.

А потом случилось то, чего мы не ждали. Дверь в сени отворилась сама. Не от удара, не от сквозняка — просто медленно, плавно, бесшумно, как будто кто-то потянул её изнутри. И на пороге стояла... мать.

Настоящая мать. В тёплом платке, в сапогах, с узелком в руке. Бледная, заплаканная, но живая. Настоящая.

— Сыночки, — сказала она, и голос её был её голосом — срывающимся, тёплым, родным. — Я вернулась. Всё хорошо.

Степан поднял крест.

— Мам, — сказал он, и в голосе его слышалась такая боль, что у меня слёзы навернулись. — Скажи, как я в пять лет Варьку из люльки уронил?

Мать помолчала. Потом улыбнулась — той самой улыбкой, которую я знал с пелёнок, мягкой, чуть виноватой.

— Ты её не уронил, — сказала она. — Ты её хотел покормить, ложку сунул, а она поперхнулась. Я тогда тебя отлупила. А ты сказал: «Мама, я больше не буду, я просто хотел, как ты». И я заплакала. И ты заплакал. И мы сидели и плакали вместе.

Степан опустил крест. Заплакал. Я заплакал. И мать заплакала. И мы кинулись к ней — все трое, я, Степан и Митя (Гришка спал, Варька в люльке гукала), — обняли её, прижались, вдохнули её запах: полыни, печёного хлеба, старого платка и ещё чего-то такого, чему нет названия, но что называется одним словом — дом.

Она обняла нас, поцеловала каждого в макушку и сказала:

— Всё. Хватит. Собирайтесь. Уходим.

— Куда? — спросил Степан.

— К бабке Ульяне. Там нас ждут. И отца — тоже. Он... он нашёлся.

— Живой?

Мать помолчала.

— Живой, — сказала она. — Но уже не совсем.

Она не стала объяснять, что значит «не совсем». Мы и не спрашивали. Мы собрали узелки — по смене белья, по краюхе хлеба, по иконе. Степан взял крест. Я — бутылку со святой водой, которую мать держала в красном углу. Митя подхватил Варьку — та уже проснулась, таращила глазёнки, пускала пузыри.

Мы вышли во двор. Там было пусто. Ни женщины босой, ни отца, ни следов. Только мокрые отпечатки босых ног на крыльце — мелкие, девичьи, но нечеловечески длинные, с растопыренными пальцами. И отпечатки эти вели не к калитке — к погребу.

— Не смотрите туда, — сказала мать. — И не оглядывайтесь.

Мы не оглядывались. Мы шли через хутор — мимо закрытых ставен, мимо притихших дворов, мимо церкви, где не горели свечи, мимо кладбища, где за оградой кто-то ходил и вздыхал. Шли и молчали. И только когда завернули за угол к бабкиной хате, я услышал за спиной — далеко, у самого ерика, у плавней, — как запели снова. Много голосов. Разных. Женских, мужских, детских. И все на одной ноте. И все звали по имени. Ефим. Степан. Григорий. Дмитрий. Варвара.

Я ускорил шаг. И не обернулся.

А зря. Потому что если бы я обернулся, я бы увидел, как из каждого двора, из каждого колодца, из каждой закрытой двери тянется к небу что-то серое, прозрачное, похожее на дым, но холодное, как лёд. И как эти столбы сходятся в одну точку — над хутором, над Гнилым, над нашей брошенной мазанкой. И как в этой точке открывается глаз. Огромный, белый, без зрачка. И смотрит.

Смотрит на нас.

И ждёт.

Глава 4

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Бабка Ульяна и живые покойники

Хата бабки Ульяны стояла на самом отшибе, у старой ветлы, которую в округе прозвали «висельной» — не потому, что на ней кого-то вешали, а потому, что ветви её свисали до самой земли, образуя живой шатёр, под которым даже в полдень царил полумрак, пахло сырой землёй и чем-то сладковато-гнилым, как от переспелых яблок, упавших в траву и забытых до первых заморозков. Хата эта отличалась от других: во-первых, она была крыта не тёсом и не соломой, как у всех, а старым, почерневшим от времени драньём, из которого в непогоду сочилась вода, но внутри, как говорили, всегда было сухо и тепло. Во-вторых, у неё не было крыльца — дверь выходила прямо на утоптанную площадку, а порог был такой высокий, что мне, шестилетнему, приходилось вползать на него с разбегу, хватаясь за косяк. И в-третьих — и это было самым странным, — у бабки Ульяны не было колодца. Вода у неё была своя, из-под пола: она поднимала крышку в сенях, опускала ведро на верёвке, и через несколько секунд слышалось тихое «бульк» — а ведро возвращалось полным, студёным, с таким вкусом, будто в него добавили мёду. Никто не знал, откуда там вода бралась — говорят, Ульяна сама выкопала тот подкол в молодости, когда пришла в хутор нищей, безродной, с одним узлом за плечами и с медным крестом на голой шее. И с тех пор живёт, и никто не спрашивает, потому что боится.

Вот к этой-то хате мы и шли сумеречной дорогой, прижимая к груди узелки и не оглядываясь. Мать шагала впереди, быстро, широко, не по-бабьи, так что мы едва поспевали за ней. Степан нёс Варьку — девочка притихла, только изредка всхлипывала во сне, и эти всхлипы казались мне громче, чем всё, что творилось вокруг. Митя плёлся последним, то и дело оглядывался, и я шипел на него, дёргал за рукав: «Не гляди, дурак!», но он глядел, и от каждого его взгляда у меня по спине пробегал холод, будто кто-то проводил пальцем по позвоночнику — снизу вверх, медленно, с нажимом.

Ульяна встретила нас на пороге. Она стояла, опершись на клюку, согнутая, маленькая, вся в чёрном — чёрный платок, чёрная кофта, чёрная юбка, только лицо белое-белое, как пасхальная просфора, и глаза — два уголька, в которых теплился не свет, а что-то другое, чему я не знал названия. Угли эти смотрели не на нас — сквозь нас, в поле, туда, откуда мы пришли, и я понял: она видит то, что мы не видим. И то, что она видит, ей не нравится.

— Заходите, — сказала она глухо, с присвистом, как старая, продутая всеми ветрами труба. — Заходите, не стойте. Время — не вода, не утечёт, а дверь откроется — не закроется.

Мы перешагнули высокий порог — один за другим, крестясь на ходу, — и очутились в горнице, которая показалась мне сначала раем, а потом — чем-то средним между раем и сном. Там было тепло — не жарко, а именно тепло, той ровной, утробной теплотой, которая идёт от старых, хорошо сложенных печей, от долгого, неторопливого огня. Пахло травами — сушёной мятой, зверобоем, чабрецом, и ещё чем-то горьковатым, смолистым, напоминающим ладан, но гуще, тяжелее. В красном углу горели три лампы — перед тремя иконами: Спасом, Богородицей и Николой Угодником, у которого на окладе блестел вставленный зуб, человеческий зуб, крупный, с корнем, — поговаривали, сам Никола помог Ульяне, когда у неё разболелись зубы, и она в благодарность вставила в оклад свой выпавший.

На лавках вдоль стен сидели люди. Я узнал некоторых: соседка Марфа, что заходила к нам утром; дядя Егор, кузнец, с перевязанной рукой; тётка Зоя, у которой пропал муж в плавнях; ещё несколько мужиков и баб, чьи лица сливались в серую, усталую массу. Все они смотрели на нас — не приветливо, не враждебно, а как-то отстранённо, будто мы были не живыми людьми, а тенями, которых впустили в дом по ошибке и теперь не знали, что с ними делать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.